

Глава первая
НЕМНОГО ИСТОРИИ

В 1840-е гг. в русской литературе ясно обозначился перелом. Он сказался в торжестве новых принципов художественного освоения мира, формировавших особое искусство, которое теснило отживающий романтизм и было устремлено навстречу изменившимся вкусам и духу времени. Впоследствии оно получило название искусства реализма. Это был процесс, захвативший все европейские литературы. Он шел под знаком расширения предмета художественного изображения, дерзкого разрушения границ, освященных давней традицией и не допускавших в свои пределы прозаической, тускло-повседневной жизни, считавшейся «низменной», неспособной принести пользу взыскательному уму и усладить возвышенные чувства. В русской литературе тенденции реалистического искусства пробивали себе дорогу с конца 1820-х гг. — в творчестве Пушкина, затем Лермонтова и Гоголя. С начала 1840-х гг. их горячо, последовательно и успешно отстаивал Белинский, несмотря на сопротивление «литературных староверов» и отчасти даже благодаря такому сопротивлению: полемика всегда способствует уяснению мысли, а полемическим оружием критик владел в совершенстве.

Именно в 1840-е гг. вокруг Белинского образовался кружок преимущественно молодых писателей, известный истории русской литературы под именем «натуральной школы». Поэтической декларацией этой школы явился изданный Некрасовым в 1845 г. сборник «Физиология Петербурга», состоявший из двух отдельно вышедших частей (в первой части и были опубликованы «Петербургские шарманщики» Григоровича). Во вступительной статье Белинский указал цель издания — «составить книгу вроде тех, которые так часто появляются во французской литературе и, заняв на время внимание публики, уступают место новым книгам в том же роде»¹. Это был «опыт характеристики Петербурга, несколько очерков его внутренних особенностей»², рисующих приметы столичной жизни и объединенных общим взглядом, свидетельствующим об умении авторов «не только наблюдать, но и судить»³. Предполагалось, что наблюдение со временем должно распространиться на все сферы русской действительности и представить читателю правдивую картину страны, людей и нравов в свете строгого, нелицеприятного суждения. «Петербургский сборник» (1846), открывавшийся «Бедными людьми», был задуман как новое издание «в том же роде».

Ссылка Белинского на французскую литературу не случайна. Она означала и признание ведущей роли этой литературы среди других европейских литератур, и убеждение в том, что проблемы, волнующие Францию, имеют непосредственное отношение к России. Так и было на самом деле. Задолго до Белинского глубже других и острее других это понимал Пушкин.

Но здесь необходимо некоторое отступление в область истории.

Уже XVIII век, век петровских преобразований, вывел Россию из ее сравнительно замкнутого существования в «углу» Европы на общую европейскую сцену. Запад не без удивления следил за тем, как стремительно, буквально на его глазах, «варварская» Московия превращалась в могучее европейское государство. После побед над «непобедимым»

¹ Физиология Петербурга. М., 1984. С. 40.

² Там же. С. 39.

³ Там же. С. 41.

Карлом XII и заключения почетного для России мира со Швецией (1721 г.) соратники Петра, желая подчеркнуть величие преобразованной страны и заслуги государя, поднесли ему титул Отца Отечества, Великого императора Всероссийского, ибо «его неусыпными трудами и руководством они из тьмы неведения на театр славы всего света <...> из небытия в бытие произведены и в общество политических народов присовокуплены»⁴.

Неожиданно для себя (а в какой-то степени и для победителей) старая Европа вынуждена была уступить и отныне учитывать в своих политических планах интересы молодой империи. Начало XIX в., ознаменованное победой над Наполеоном, умножило русскую славу и еще раз показало важнейшее значение этой славянской страны в европейской истории. Вдумчивым умам уже тогда становилось ясно, что какой бы Россия ни была, как бы своеобразно ни складывались ее собственные судьбы, она была европейской державой, и, хотелось это кому-то или нет, ее настоящее, а возможно — и будущее, тесно связано с настоящим и будущим всей Европы. Запад увидел наконец Россию лицом к лицу, и точно так же, с другой стороны, ближе и пристальнее, чем когда бы то ни было, стала всматриваться в него Россия.

Россия увидела Европу в состоянии кризиса, брожения умов, подведения итогов, выработки новых положительных программ и сразу поняла, что все эти итоги и программы касаются ее самой. Она поняла, что новейшая история Европы, а следовательно, и ее новейшая история, вынесшая на гребень событий Наполеона, начинается Великой французской революцией (1789—1794 гг.) Поистине, это была не французская, но европейская революция: весь XIX век и западная, и восточная Европа решала проблемы, поставленные этой революцией на повестку дня. Ведь устои феодально-монархического строя, которые она поколебала, были устоями всех европейских стран, включая Россию.

Надо сказать, что до Великой революции даже самая революционная из европейских стран (Франция) почти сплошь была монархических убеждений — и на уровне народных верований, и на уровне интеллигентских концепций. Процесс Людовика XVI, обвиненного в измене, и его казнь, основательно подорвавшие «божественный» авторитет монархического правления (ведь все европейские монархи были монархами «милостью божией»), поразили не только Европу, но в какой-то мере и самих французов. Один из проникательнейших государственных деятелей Франции, Талейран, умудрявшийся ладить с любой властью — и той, которая реально управляла, и той, которая готовилась впоследствии ее сменить, — писал о первых годах царствования этого монарха: «Какая блестящая эпоха! Молодой король, щепетильной нравственности, редкой скромности; министры, известные своей просвещенностью <...> королева, приветливость которой, прелесть и доброта смягчали строгость добродетелей ее супруга, — все было полно почитания, все было преисполнено любви, все было празднеством! Никогда весна столь блестящая не предшествовала такой бурной осени, такой зловещей зиме!»⁵

И вот через несколько лет и в несколько лет монархии и феодализму, поддерживающему монархию, был нанесен урон, от которого они не смогли оправиться никогда. То и другое зашаталось, так как силою обстоятельств то и другое было поставлено под сомнение. В сентябре 1791 г., в ходе нарастающей революции, Национальное собрание, предваряя текст выработанной им Конституции, возвестило: «Национальное собрание <...>

⁴ Слова из речи канцлера графа Г. И. Головкина // *Соловьев С. М.* Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984. С. 123—124.

⁵ *Талейран.* Мемуары. М., 1959. С. 98.

безвозвратно отменяет учреждения, оскорбляющие свободу и равенство в правах <...> Не существует больше ни дворянства, ни пэрства, ни наследственных отличий, ни сословных отличий, ни феодального строя, ни вотчинного суда, никаких титулов, наций и преимуществ, из них вытекавших <...> Закон не признает больше ни религиозных обетов, ни других обязательств, противных естественным правам и Конституции!»⁶ Осуществление этой программы в действительности было еще делом будущего.

Однако есть вещи, в которых вообще (или в известное время) не следует сомневаться именно потому, что они вообще (или в известное время) не имеют под собой достаточно прочных оснований. Нечто подобное произошло и с принципами феодально-монархического строя в сознании просвещенных (и не только просвещенных) европейцев. Великая французская революция оказалась действительно европейской революцией — в сознании людей безусловно.

Естественно, что она и ее далекие от провозглашенных целей результаты выдвинули на передний план вопросы истории — Франции, а вместе с ней — всей Европы, наконец — всего человечества, бывшие до тех пор достоянием лишь отдельных умов. Это обычное следствие исторических сдвигов, тем более таких, каким явилась революция, попытавшаяся опрокинуть то, что казалось незыблемым в течение веков. С этого времени вопросы истории уже не теряли актуальности. Самый историзм как способ подхода к общественным явлениям возник на той же почве. Он осваивался и художественной литературой: сначала робко и с отступлениями — в пределах романтизма, затем решительно и без изъятий — в реалистическом искусстве.

Основные положения прогрессивной европейской мысли сводились примерно к следующему: 1) все народы представляют собой единую семью; 2) история человечества — процесс, в котором действуют определенные закономерности, как они действуют и в биологическом организме; 3) история развивается в национальных формах, но все народы проходят сходные ступени развития; при этом народы, утратившие историческую активность, передают факел общечеловеческого прогресса молодым нациям; 4) все факторы общественной жизни взаимосвязаны и взаимообусловлены; 5) на любой ступени исторического бытия и в любом месте человек является продуктом среды и обстоятельств.

Во Франции, которая на собственном опыте знакомилась с итогами Великой революции, не исполнившей своих высоких обещаний («Свобода! Равенство! Братство! Общее счастье!»), вопросы истории всю первую половину XIX в. имели злободневно-публицистический характер. Ведь «общее счастье», звавшее бедняков и пролетариев Франции на баррикады, их обошло вовсе, и политические метаморфозы власти, оказавшейся в руках нового сословия — буржуазии, не облегчили, но утяжелили условия жизни трудящегося класса. Угроза ближайших революционных потрясений (революции 1830 и 1848 гг., перешагнувшие границы Франции, показали, насколько она реальна) заставляла думать об обездоленном народе. Социальные противоречия, судьбы малоимущего и неимущего большинства нации — вот что сделалось главным в размышлениях интеллигентной Франции над проблемами новой и новейшей истории. Начиная с 1830 г. эти проблемы стали предметом самого широкого обсуждения не только в публичных лекциях, научных трактатах и публицистических статьях, но и в художественной литературе.

Решительный поворот художников слова к социальной тематике, их живая заинтересованность тревогами текущего дня означали резкую смену привычных ориентиров

⁶ Кропоткин П. А. Великая французская революция. 1789—1793. М., 1979. С. 114—115.

и даже на участников этого процесса (вроде известного французского писателя, критика и историка литературы Сент-Бёва) производили впечатление революции в самом искусстве. «При каждой великой политической и социальной революции, — писал Сент-Бёв в 1830 г. в статье “Стремления и надежды литературно-поэтического движения после революции 1830 года”, — менялось и искусство, которое является одной из важных сторон общественной жизни; в нем тоже совершается революция <...> она касается <...> условий его существования, способов его выражения, его отношения к окружающим предметам и явлениям, чувств и идей, которые оно запечатлевает, равно как и источника вдохновения»⁷. И дальше: «...эхо социальных потрясений (Сент-Бёв имеет в виду Великую французскую революцию. — В. В.) рано или поздно должно было найти отклик и в поэзии: она неизбежно должна была пережить свою революцию <...> и действительно, вскоре такая революция началась...»⁸ По мнению критика, ее признаки наметились в конце XVIII в., но в целом искусство слова первых десятилетий XIX в., вплоть до конца 1820-х гг., «не охватывает и не отражает все более и более развивающегося социального движения <...> оно довольствовалось тем, что время от времени бросало взгляд на народ, на большую часть общества, растерянно теснящуюся внизу, на проселочной дороге, где, за исключением дорогого нам имени Беранже, не звучало еще имя подлинного поэта». Лишь «в наши дни, — заявлял Сент-Бёв, — когда <...> народ и поэты собрались шагать рядом, поэзия вступает в новый период; литература отныне — часть общего дела, она готова бороться вместе со всеми, она стоит плечом к плечу с неутомимым человечеством». И в заключение: «Сегодня миссия литературы — это создание подлинной эпопеи человечества», охватывающего людей всех стран и любых сословий, но главным образом — трудящийся и страдающий народ»⁹. Заявления такого рода не затихали, докатившись до границ Франции, они звучали на весь мир.

Европа была прикована к событиям и идеям, не перестававшим будоражить Францию с конца XVIII в. и сочувственно отзывавшимся в других странах. Все, что происходило там, в «центре цивилизации», немедленно оказывалось известным всей Европе. И даже так: в каждой европейской стране знали то, что делается во Франции, едва ли не лучше, чем то, что делается у себя дома. Так было и в России, несмотря на строжайшую цензуру, старавшуюся не пропускать никаких серьезных (научных) книг, сколько-нибудь «зараженных» крамольным духом (что, надо сказать, ей все-таки плохо удавалось), но по привычке снисходительно смотревшую на произведения художественной литературы. Однако французская литература несла те же крамольные идеи и была адресована гораздо большему кругу читателей, чем тот, который мог бы приветствовать научные трактаты. В 1876 г. Достоевский писал, что «у нас <...> еще с прошлого столетия, всегда тотчас же становилось известным о всяком интеллектуальном движении в Европе, и тотчас же из высших слоев нашей интеллигенции передавалось и массе хотя чуть-чуть интересующихся и мыслящих людей». И дальше, рассказывая о годах своей юности, продолжал: «Точь-в-точь то же произошло и с европейским движением тридцатых годов. Об этом огромном движении европейских литератур, с самого начала тридцатых годов, у нас весьма скоро получилось понятие. Были уже известны имена многих новых явившихся ораторов, историков, трибунов, профессоров. Даже хоть отчасти, хоть чуть-чуть, известно стало и то, куда клонит все это

⁷ Сент-Бёв Ш. Литературные портреты. Критические очерки. М., 1970. С. 99—100.

⁸ Там же. С. 101—102.

⁹ Сент-Бёв Ш. Литературные портреты... С. 107, 108.

движение». Как раз в художественной литературе (и прежде всего — в романах Ж. Санд, от которой русского читателя тогдашняя реакционная печать старательно оберегала) это движение, считал Достоевский, выразилось «особенно страстно». Характеризуя умонастроения русской читающей публики в ту пору, Достоевский писал: «...в половине сороковых годов у нас, даже в массе читателей, было хоть отчасти известно, что Жорж Санд — одна из самых ярких, строгих и правильных представительниц того разряда тогдашних западных новых людей, явившихся и начавших прямым отрицанием тех «положительных» приобретений, которыми закончила свою деятельность кровавая французская (а вернее европейская) революция <...> По окончании ее (после Наполеона I) явились новые попытки выразить новые желания и новые идеалы. Передовые умы слишком поняли, что лишь обновился деспотизм <...> что новые победители мира (буржуа) оказались еще, может быть, хуже прежних деспотов (дворян) и что «свобода, равенство и братство» оказались лишь громкими фразами и не более». Уныние и грусть отразились на многих лицах, вселявших страх в торжествующих буржуа. «И вот в эту-то эпоху вдруг возникло действительно новое слово и раздались новые надежды: явились люди, прямо возгласившие, что дело остановилось напрасно и неправильно, что ничего не достигнуто политической сменой победителей, что дело надобно продолжать, что обновление человечества должно быть радикальное, социальное <...> засветилась опять надежда и опять начала возрождаться вера».

Говоря о «новом слове» и «новых надеждах», Достоевский имел в виду учения французских утопических социалистов — Сен-Симона (1760—1825), Фурье (1772—1837), их многочисленных (с конца 1820-х гг.) учеников и последователей, идеи которых прямо и косвенно питали французскую литературу — произведения Ж. Санд, О. Бальзака, В. Гюго и других, теперь гораздо менее известных. В атмосфере этих общественных веяний и возродившихся упований формировалось мировоззрение Достоевского.

Главное в учениях утопистов — идея «социальности» (она-то и дала их авторам название «социалистов», а утопический характер их положительных программ позднее уточнил это название, и они стали именоваться «утопическими социалистами»). Эта идея явилась прямым выводом из опыта революционной и послереволюционной Франции конца XVIII — начала XIX в., и Достоевский правильно передает суть дела. Поскольку политический переворот (переход власти из одних рук в другие) не улучшил положения народа, необходимо, думали утописты, спуститься с высот общественного здания, оставив в покое политическую борьбу, и радикально реформировать его основание — институт собственности, на котором строятся все социальные (общественные) отношения отдельных людей, групп, сословий, классов.

Сен-Симон писал: «...закон, устанавливающий власть и форму правления, не имеет такого значения и такого влияния на благосостояние наций, как закон, устанавливающий собственность и регулирующий пользование ею <...> именно этот институт служит основанием общественного здания»¹⁰. Между тем деятели Великой французской революции, возложившие все надежды на политические формы организации власти, не посмели коснуться этого основания. И здесь, считали утописты, заключалась их ошибка. Нужно начинать с собственности и решить вопрос так, чтобы индивидуальное право на нее было ограничено и имело в виду благо всех, чтобы оно не шло в ущерб другому или другим, чтобы были учтены в первую очередь и непременно интересы голодных и неимущих. Революция, следовательно, лишь обозначила назревшие в обществе потребности

¹⁰ Сен-Симон. Избр. соч. М.; Л., 1948. Т. 1. С. 354—355.

(необходимость материального обеспечения всех и каждого, без чего немислимо «общее счастье»), но не разрешила связанных с ними проблем. Поэтому она должна (и непременно станет) развиваться дальше, идя в глубь социальных преобразований. Ведь всякая потребность как государства, так и отдельных лиц, рассуждал Сен-Симон, «продолжает жить до тех пор, пока не будет удовлетворена, и проявляется она с тем большей энергией, чем дольше откладывается ее удовлетворение»¹¹.

Характерной чертой утопических систем при всей прикованности к настоящей минуте была их универсальность. Более, чем национальные различия, утопистов интересовала межнациональная общность исторического процесса. Принимая во внимание социальные факторы истории, утописты отмечали эту общность в прошлом и хотели бы видеть ее в будущем. В лекциях, популяризирующих учение Сен-Симона и прочитанных его учениками в 1828—1829 гг., говорилось: «Человек эксплуатировал до сих пор человека. Господа — рабы; патриции — плебеи; сеньоры — крепостные; земельные собственники — арендаторы; празднотлюбцы — труженики, — такова прогрессивная история человечества до наших дней. Всемирная ассоциация — вот наше будущее. Каждому по способности, каждой способности по ее делам <...> человек не будет больше эксплуатировать человека; человек, вступивший в товарищество с другим человеком, будет эксплуатировать мир, отданный ему во власть»¹². Утопистов волновали общие судьбы человеческого рода. Именно в такой всеобъемлющей перспективе Достоевскому виделись суть и способы преодоления социальных противоречий. И в какие бы узкие рамки ни заключался его художественный сюжет (будь это интимная переписка, как в «Бедных людях», или уголовная история, как в «Братьях Карамазовых»), он обычно подспудно охватывает судьбы мира.

Движение вперед по ступеням прогресса и степень совершенства (или несовершенства) общества утописты связывали с благополучием большинства. «Лучшее общественное устройство, — писал Сен-Симон, — это то, которое делает жизнь людей, составляющих большинство общества, наиболее счастливой, предоставляя им максимум средств и возможностей для удовлетворения их важнейших потребностей»¹³ — физических и духовных.

Согласно убеждениям утопистов, окрашенным у них религиозными верованиями, конечная цель, к которой сквозь муки исторического процесса стремится неутомимое человечество и которая предначертана ему в планах бога, — счастье всех людей без исключения, мировая гармония. По мнению Фурье, повторяющему мысль Ж. Ж. Руссо («Все было хорошо, выходя из рук творца вещей...»), некая «тень счастья» сохранилась в смутных воспоминаниях человечества о «золотом веке» в прошлом: «первые люди вышли счастливыми из рук бога», потому что не знали вражды и разобщения и их ничем не искаженные страсти служили благу каждого в отдельности и всех вместе¹⁴. Но это было блаженство, которого люди не осознавали, — блаженство неведения зла. Счастье, ожидающее умудренное человечество в конце исторического пути, трудно вообразить: оно должно быть умноженным многократно. В отличие от Фурье, Сен-Симон полагал, что в прошлом человеческого рода не было и тени счастья, а предания о былом и утраченном совершенстве — не что иное, как туманная догадка человечества о своем высоком

¹¹ Сен-Симон. Избр. соч. Т. 2. С. 24.

¹² Изложение учения Сен-Симона. М.; Л., 1947. С. 81.

¹³ Сен-Симон. Избр. соч. Т. 2. С. 277.

¹⁴ Фурье Ш. Избр. соч. М.; Л., 1951. Т. 1. С. 146, 148.

предназначении и вполне реальная мечта о будущем: «Золотой век, который слепое предание относило до сих пор к прошлому, находится впереди нас»¹⁵. (Мотивы «золотого века» оригинально отзвучат, как увидим, в первом же романе Достоевского.)

Но что касается исторического настоящего (то есть всего периода цивилизации — от первых фактов, зафиксированных в анналах истории, и до последних дней), то оно являет собой картину, почти ничем не напоминающую ни прошлого (если такое было), ни будущего блаженства. Цивилизованный мир находится в состоянии глубокой испорченности, извращающей благие по природе человеческие страсти, и в данный момент демонстрирует отсутствие согласия и вражду, вызванную борьбой чудовищно разросшихся эгоистических интересов — и отдельных людей, и целых сословий. «Мы находимся, — писал Фурье, — в <...> веке *восходящей бессвязности* <...> поэтому мы чрезвычайно несчастливы вот уже пять-шесть тысяч лет, историю которых передали наши хроники. Всего лишь семь тысячелетий протекло от сотворения людей, и за все это время мы шли только от мук к мукам»¹⁶.

Никакие достижения цивилизации не могут скрыть того факта, что лишь ничтожное меньшинство пользовалось и пользуется их преимуществами, в то время как остальные томятся в невежестве и нищете. Беспощадная критика социальных противоречий — самая сильная *сторона* в учениях утопистов. Она-то и привлекала сочувственное внимание Достоевского.

Главное зло современных обществ, от которого происходят все несчастья, а вместе с тем и главный аргумент в пользу необходимости их немедленного переустройства утописты видели в бедности. «...Когда я говорю в качестве общего положения: *люди периода цивилизации очень несчастливы*, — писал Фурье, — это значит, что семь восьмых или восемь девятых из них доведены до положения злосчастья и лишений, что лишь одна восьмая избегает общего несчастья». В примечании к сказанному он разъяснял: «Разве не необходимо, чтобы бог поднял некоторых к этому благосостоянию, в котором он отказывает огромному большинству <...>? Без этой меры предосторожности люди периода цивилизации не чувствовали бы своего несчастья. Вид богатства другого — единственный стимул, могущий озлобить ученых, обычно бедных, и побудить их к исканиям нового социального порядка, способного дать людям периода цивилизации благосостояние, которого они лишены»¹⁷. Этот же вид богатства и просто голод заставляют остальных бедных добиваться справедливости с оружием в руках.

Но такой оборот дела Сен-Симона, Фурье и их последователей, напуганных Великой французской революцией, решительно не устраивал: в революционных взрывах они видели лишь высшую степень ненависти и разобщения, и без того отравляющих души современных людей. А поскольку эта враждебная разобщенность противоречит и целям исторического прогресса, и планам бога, то современный облик мира рисовался утопистам в виде хаоса и беспорядка, очевидного нечестия и кощунства. «Состояние цивилизации, — писал Фурье, — является <...> антиподом предназначения, миром наыворот, социальным адом»¹⁸. В нем торжествуют корысть и коварство, все многоликие формы зла, тогда как добро попорно и угнетено. По мнению Сен-Симона, «современное общество являет собой воистину картину

¹⁵ Сен-Симон. Избр. соч. Т. 2. С. 273.

¹⁶ Фурье Ш. Избр. соч. Т. 1. С. 140.

¹⁷ Фурье Ш. Избр. соч. Т. 1. С. 130—131.

¹⁸ Там же. Т. 3. С. 499.

мира, перевернутого вверх ногами, ибо <...> в качестве основного принципа принято положение, что бедные должны быть великодушны к богатым, вследствие этого менее обеспеченные ежедневно лишают себя части необходимых им средств для того, чтобы увеличить излишек крупных собственников; ибо величайшие преступники, воры высшего порядка <...> облечены властью наказывать мелкие проступки против общества; ибо невежество, суеверие, лень и страсть к разорительным удовольствиям составляют удел главарей общества, а способные, бережливые и трудолюбивые люди подчинены им и используются лишь в качестве орудий; ибо, одним словом, во всех родах занятий неспособные люди управляют способными, безнравственные призваны наставлять граждан добродетели, наиболее преступные — карать мелкие провинности»¹⁹. Уподобление современного мира преисподнему царству зла — настойчивый мотив в творчестве Достоевского. Появившись в «Бедных людях», он возникает в дальнейшем в новых обликах. Ведь в логике этого уподобления любая видимость блага подозрительна, она прячет недобрую сущность.

Ввиду того, что политическая борьба и вооруженное восстание как революционный способ преобразования мира не привлекали утопистов, им оставалось предложить один путь — путь проповеди и примера, которые должны были убедить богатых и бедных (основное для утопистов социальное деление: его легко усмотреть при любых формах власти и во все времена) в выгоде взаимной любви, учитывающей интересы всех и каждого. В основе проповеди лежало реформированное христианство, очищенное от мистики и обрядов, от всех веками наслоившихся на него «предрассудков», которыми церковь и светская власть, утаивая социальную сторону религии любви (а к ней-то, в глазах утопистов, эта религия и сводилась), старались опутать простодушное человечество. Первоначальное христианство, ближе стоящее к истоку, чем поздние искаженные его изводы, заключало в себе, по мнению утопистов, лишь один «божественный принцип: *все люди должны видеть друг в друге братьев, должны любить и помогать друг другу*»²⁰. Высказанный абстрактно давным-давно, этот принцип в настоящее время необходимо воплотить в жизнь. «Господа, — обращался Сен-Симон к тем, кто готов был сочувственно разделить его идеи, — поведение <...> первых христиан должно служить вам образцом. Нам предстоит завершить то, что они начали. На нас возложена славная задача применить в <...> практике учение, которое они могли создать лишь в отвлеченном виде»²¹. Новые апостолы Христа, идя по стопам учителя, должны были вдохнуть живую душу в больное тело социального организма. Утописты рассчитывали при этом на альтруистические чувства (дружбы, любви), еще не до конца заглохшие в человеческом сердце и освященные если не для всех, то для многих божественным авторитетом основателя христианства.

Утописты (и точно так же Достоевский), используя легендарные и реальные факты церковной истории, библейские образы и мотивы, учитывали то обстоятельство, что христианство было религией, признанной в ту пору ведущими государствами цивилизованного мира. В конце концов, убеждали утописты, надлежит хорошо усвоить некоторые истины христианской морали, которые церковь и светская власть решили хорошо забыть: все люди «должны смотреть на себя как на детей одного отца», а следовательно,

¹⁹ Сен-Симон. Избр. соч. Т. 1. С. 433—434.

²⁰ Сен-Симон. Избр. соч. Т. 2. С. 62, 68 и др.

²¹ Там же. С. 78.

относиться друг к другу с братской любовью²². Одушевленные этой любовью, богатые, надеялись проповедники «нового христианства», согласятся наконец, не теряя собственного интереса, облагодетельствовать бедных, бедные же, получив возможность удовлетворения своих потребностей и свою долю удовольствия, ответят на это чувством признательной благодарности. В результате мир ожидают утешительные перемены, обещающие радостное воскресение измученного человечества не где-нибудь в отдаленном, потустороннем и неизвестном будущем, а здесь, на земле. Как ни наивно выглядит это решение социальных проблем, но оно и выражает суть утопических положительных программ. Молодой Достоевский был далек от этой наивной веры.

Однако, по мнению утопистов, радикальная и бескровная революция может произойти очень скоро: ведь болезнь социального организма приобрела слишком острые формы, а цель трудов, предпринимаемых по ее исцелению, достаточно ясна, высока и прекрасна. «Современное положение вещей, — писал Сен-Симон, — противоестественно и не может дальше продолжаться <...> современный кризис не является особенностью Франции <...> это общий кризис всей Европы <...> французский народ нельзя рассматривать и лечить отдельно <...> средства, которые могут исцелить Францию, должны быть применены ко всей Европе...»²³ Отсюда двойная задача «друзей человечества»: с одной стороны, неустанное разоблачение язв существующего строя, уничтожение всех украшающих его покровов; а с другой — столь же неустанный призыв к реальному и неотразимо прекрасному будущему — земному раю, общей счастливой гармонии.

Главная роль в выполнении этой задачи (утверждение, особенно настойчиво повторяемое сенсимонистами) принадлежит философам и художникам, которые до недавнего времени не были озабочены ею вовсе. Впрочем, философия и искусство не противостоят друг другу и, в принципе, способны совмещаться. Так думал Достоевский, когда 31 октября 1838 г. писал брату: «Философию не надо полагать простой математической задачей, где неизвестное — природа <...> Заметь, что поэт в порыве вдохновенья разгадывает бога, следовательно, исполняет назначение философии. Следовательно, поэтический восторг есть восторг философии.. Следовательно, философия есть та же поэзия, только высший градус ее!..» Но как бы то ни было — до сих пор никто, по убеждению Фурье, высказанному с обычной для него резкостью, не был занят самым важным — исследованием пороков цивилизации — ни философы (поэтому вся философия «испорчена»), ни поэты (поэтому литература вместо того, чтобы добросовестно изучать жизнь и объяснять, какой ей следует быть, «только и старалась, что освоить нас с пороком»²⁴). Однако теперь все усилия должны быть направлены к одной цели и служить святому делу возрождения человечества. Ведь строй цивилизации, как долго бы он ни длился и как бы ни был жесток, — всего лишь «временная болезнь» органического роста, казавшаяся утопистам легко преодолимой и искупаемой неизмеримо большими веками прекрасной гармонии. «Стряхните <...> с себя всякий страх, господа, — призывали в лекциях сенсимонисты, — и не противьтесь потоку, увлекающему вас к счастливому будущему; положите конец сомнениям, которые вносят неуверенность в ваши сердца и поражают вас бессилием; охватите любовно алтарь примирения, ибо времена исполнились, и скоро пробьет час, когда, согласно сен-симонистскому преображению христианского слова, все

²² Сен-Симон. Избр. соч. Т. 2. С. 398.

²³ Сен-Симон. Избр. соч. Т. 2. С. 74.

²⁴ Фурье III. Избр. соч. Т. 4. С. 146.

будут зваными и все будут избранными»²⁵. Будут зваными и избранными потому, что пороки человека, как бы глубоко они его ни задели (и это утописты утверждали в противоположность христианской догме, признававшей наследственную людскую испорченность), не прирождены ему. Все они — следствие ненормальной социальной организации, все они общественной природы. Именно так, судя по произведениям раннего творчества (в отличие от произведений более поздней и зрелой поры), и думал Достоевский. Зависимость человека от среды и обстоятельств утописты толковали в этом плане: дурное общество навязывает человеку дурные страсти, коверкая его благие побуждения. Порочны не люди, постоянно повторял Фурье, «порочен ваш социальный механизм»; «все наши характеры хороши <...> следует развивать, а не исправлять природу»; и еще: «то, что есть порочного, — это строй цивилизации, не согласный ни развивать, ни использовать характеры, данные богом»²⁶. Обрушиваясь на дурной «социальный механизм», утописты одновременно горячо оправдывали и каждого отдельного человека, и все человечество. Оно низведено в глубину нищеты и скорби, погрязло в суевериях и предрассудках, но оно создано для счастья и заслуживает божественно высокой судьбы. Проповедь утопистов (их «новое христианство») была религией восторженного поклонения униженному и страдающему человечеству, религией экзальтированной мечты (для проповедников ближайшим образом осуществимой) о «восстановлении» его в правах, достойных лучшего творения бога.

Разумеется, чем более придавлен средой и обстоятельствами был «брат твой», тем более и заслуживал он любви. В логике такого хода мысли (не разделяемой, как увидим, Достоевским) бедные хороши уже потому, что они бедны; богатые же, заледеневшие в своем эгоизме до полного отчуждения от несчастного брата, вызывали, при всех оговорках, сочувствия гораздо меньше. В основе этого предпочтительного деления лежали социальные мотивы учения Христа («Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»), которые долгие века делали это учение верой нищего и обездоленного люда.

Утопистам, возвестившим новую религию, а вместе с ней и новые начала социальной организации, казалось, что главные вопросы ими решены и что мир находится накануне колоссального переворота. Отголоски этого убеждения (одновременно со скепсисом по поводу окончательности решений) слышны в дневниковых записях Герцена 1844 г.: «Поразительное сходство современного состояния человечества с предшествующими Христу годами...» Тогда среди разных верований и постепенно складывались понятия будущей мировой религии и новой жизни. «В наше время социализм и коммунизм находятся совершенно в том же положении, они предтечи нового мира общественного, в них рассеянно существуют *membra disjecta* (разрозненные члены. — В. В.) будущей великой формулы <...> Без всякого сомнения, у сен-симонистов и у фурьеристов высказаны величайшие пророчества будущего, но *чего-то* недостает <...> учения эти велики тем, что они возбудят, наконец, истинно народное слово, как евангелие. Доселе с народом можно говорить только через священное писание и, надобно заметить, социальная сторона христианства всего менее развита <...> Обновление неминуемо»²⁷. Несколько лет спустя (в 1849 г.) Достоевский, будучи привлеченным к суду за участие в социалистическом кружке Петрашевского и отвечая на вопросы Следственной комиссии, говорил, что всегда «любил <...> изучать»

²⁵ Изложение учения Сен-Симона. С. 160.

²⁶ Фурье III. Избр. соч. Т. 4. С. 174, 175, 176.

²⁷ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 2. С. 344—345. Далее: Герцен А. И.

историю и социальные вопросы. «Социализм предлагает тысячи мер к устройству общественному <...> Но именно оттого, что я не принадлежу ни к какой социальной системе, а изучал социализм вообще, во всех системах его, именно поэтому я <...> вижу ошибки каждой социальной системы <...> Наконец, вот вывод, на котором я остановился. Социализм — это наука в брожении, это хаос, это алхимия прежде химии, астрология прежде астрономии; хотя, как мне кажется, из теперешнего хаоса выработается впоследствии что-нибудь стройное, благоразумное и благодетельное для общественной пользы точно так же, как из алхимии выработалась химия, а из астрологии — астрономия». Трудно было бы с большей точностью и большим лаконизмом определить состояние тогдашнего теоретического социализма, чем это сделал Достоевский. В словах Достоевского и Герцена очевидно признание важнейшего значения утопических социальных учений для настоящего и будущего европейского мира, а вместе с тем их высказывания оставляют возможность полемики. И это понятно: у Достоевского, как и Герцена, был тот же, что и у западных социалистов, интерес к общественным проблемам; тот же исторический опыт перед глазами, что и у них; те же предшественники (идеологи и философы), что и у них. И ничто не мешало Достоевскому, как и Герцену, не только следовать за ними, но и возражать. У русских писателей было даже преимущество: они формировались в особых условиях и смотрели на европейский кризис в самой большой его точке (Франция) чуть-чуть издали. «Многое, очень многое из того, что мы взяли из Европы и пересадили к себе, — писал Достоевский, — мы не скопировали только <...> а привили к нашему организму, в нашу плоть и кровь; иное же пережили и даже выстрадали *самостоятельно*, точь-в-точь как те, там — на Западе, для которых всё это было свое родное».

Достоевский имел в виду усилия русской самостоятельной мысли 1830-х — 1840-х гг. (и прежде всего — свои собственные), обращенные к анализу общественных явлений. Полемические возражения касались положительных программ и утопических рецептов спасения человечества, но не критической направленности западных учений. Вспоминая об этом времени в 1850 г., Герцен писал: «После 1830 года, с появлением сен-симонизма, социализм произвел в Москве большое впечатление на умы <...> Нас, свидетелей самых чудовищных злоупотреблений, социализм смущал меньше, чем западных буржуа. Мало-помалу литературные произведения проникались социалистическими тенденциями и одушевлением. Романы и рассказы <...> протестовали против современного общества <...> Достаточно упомянуть роман Достоевского “Бедные люди”»²⁸.

Социальность — вот новое требование, предъявленное европейской литературе всем ходом исторического процесса, на которое она старалась ответить и вполне убедительно ответила только в произведениях зрелого реализма. Обозреватель «Отечественных записок» в статье, посвященной французской литературе и пропагандирующей Ж. Санд, сочувственно цитировал одного из западных критиков (явно социалистического толка): «Истинная поэзия нашей эпохи — поэзия слез и изысканий, поэзия, грустно представляющая хаотическую картину современного общества и всеми силами души своей порывающаяся к будущему, то есть к божественному идеалу»²⁹. Требование социальности сделалось главным мотивом статей Белинского 1840-х гг. В письме В. П. Боткину от 8 сентября 1841 г., насквозь пронизанном последними откровениями социалистической проповеди, Белинский писал: «Социальность, социальность — или смерть! Вот девиз мой». Этот девиз означал восприятие

²⁸ Герцен А. И. Т. 7. С. 252.

²⁹ Отеч. записки, 1843. Т. XXVIII, май, отд. VII. С. 35.

всех явлений в их отношении друг к другу и общественной ситуации в целом: «Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи? <...> Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда большая часть и не подозревает его возможности? <...> Не хочу я его, если оно у меня не общее с меньшими братьями моими! Сердце мое обличается кровью и судорожно содрогается при взгляде на толпу и ее представителей». Каждый такой «представитель» («босоногий мальчишка», «оборванный нищий», «пьяный извозчик», «солдат», «чиновник», «офицер», «гордый вельможа») и все они вместе являют собой не слишком привлекательную картину. «И после этого, — восклицал Белинский дальше в том же письме, — имеет ли право человек забываться в искусстве, в знании! <...> Отрицание — мой бог»³⁰.

По логике этого рассуждения получалось, что довольно наблюдательного взгляда и отзывчивой души, не чуждой современных веяний, чтобы верное описание любой частности из общественной жизни вело к отрицательному суждению о целом. Это и был путь французской литературы в жанре натурального очерка, маленького фельетона, откликающегося на злобу дня, тот путь, который во вступительной статье к «Физиологии Петербурга» Белинский предлагал «обыкновенным талантам», рекомендуя соединенные в сборнике произведения «такого рода». Жанр натурального очерка, фельетона был реализацией одной из возможностей социального подхода к изображению действительности — реализацией безусловно полезной (если иметь в виду воспитание в читателе гражданских чувств), но и в самом деле доступной вполне заурядному дарованию. Ведь мысль, что часть свидетельствует о целом, с тех пор как она была высказана и разъяснена в определенном смысле, не представляла особых затруднений ни для того, кто иллюстрировал ее каким-нибудь бесхитростным примером, ни для того, кто этот пример воспринимал.

Эта литература, останавливающаяся на внешней, бросающейся в глаза стороне жизни и не слишком забирающаяся в ее глубины, не удовлетворяла Достоевского. Заканчивая «Бедных людей», он писал брату: «Старые школы исчезают. Новые мажут, а не пишут. Весь талант уходит в один широкий размах, в котором видна чудовищная недоделанная идея и сила мышц размаха, а дела крошечку». Дальше он говорит о французских фельетонистах, которым «у нас <...> тоже подражают», и заключает: «Декораторы они!»

Однако задачи литературы, проникнутой «социалистическими тенденциями и одушевлением», и, говоря шире, — литературы, занятой постижением реальной действительности, к «декорациям» не сводились. Напротив, эта литература все более настойчиво ставила перед собою цель, принадлежащую, по мнению Сен-Симона, истинной философии, — изучение человека, именно социального человека, не существующего самого по себе, но являющегося элементом так или иначе организованного общества. Как и всякое научное изучение, оно должно было опираться на правильно понятые и правильно отобранные факты. Литература приобретала аналитический характер, и это тем более было ей необходимо, что болезненная ненормальность социального организма, поражая так или иначе любую душу, могла (и даже должна была, как считала Ж. Санд) создавать в ней драмы, очевидные лишь для вдумчивой и пытливой мысли. Как раз такой литературе, утверждала Ж. Санд в одной из своих статей, переведенной и напечатанной в 1843 г. в «Отечественных записках», принадлежит будущее: «Она не станет поражать внешним блеском, но будет постоянно говорить душе, ибо ее тайные, внутренние драмы видимы будут только для мысли, но не видимы для глаз. Трудная роль готовится ей — и не

³⁰ Белинский В. Г. Т. 9. С. 482, 483.

вдруг будет понята она. И сначала восстанет против нее большинство, и много битв она должна будет выдержать прежде, чем водрузить свое победоносное знамя на развалинах современной <...> литературы...»³¹

Эти вдохновенные пророчества раздавались со страниц русского журнала в ту пору, когда Гоголь из пустынного, казалось бы, факта «пропавшей у чиновника шинели» уже «сделал нам ужасную трагедию» («Шинель», 1842); Пушкин еще раньше успел рассказать о счастье «бедной Дуни», сведшем в гроб ее отца («Станционный смотритель», 1831); а в сознании Достоевского (в противоположность романтическим мечтаньям, долгое время очаровывавшим его душу) исподволь созрели навеянные самой обыденной действительностью образы и идеи, которые наконец овладели им совершенно, потребовав художественного воплощения. «И стал я разглядывать, — вспоминал Достоевский, — и вдруг увидел какие-то странные лица. Всё это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон-Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники и в то же время как будто какие-то фантастические титулярные советники. Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и всё хохотал! И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история». Это была история очень «бедных людей».

³¹ Отеч. записки, 1843. Т. XXVIII, май, отд. VII. С. 33.